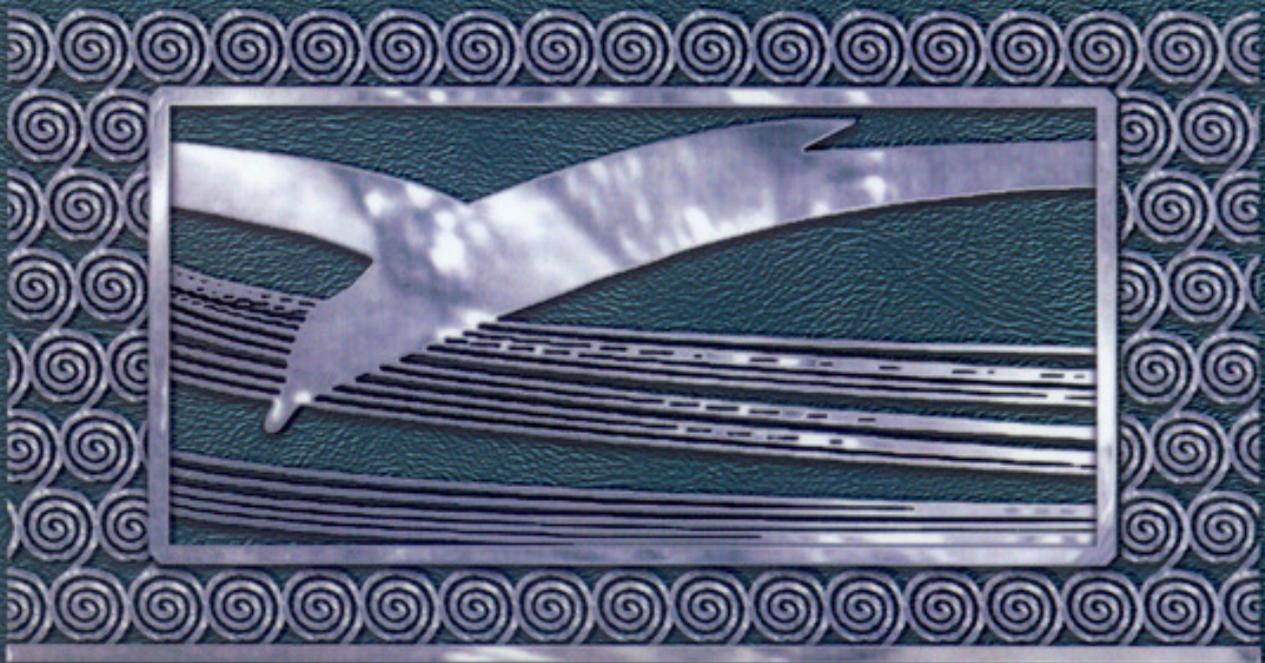


А. Д. Володин

РАМПА И ЖИЗНЬ



Леонид Леонидов

**Рампа и жизнь**

«Спорт»

2014

ББК 49.7

**Леонидов Л. Д.**

Рампа и жизнь / Л. Д. Леонидов — «Спорт», 2014

ISBN 978-5-906131-46-1

Мемуары известного русского антрепренера Леонида Леонидова, чья жизнь и работа была тесно связана с русским театральным искусством и, в частности, с Московским художественным академическим театром.

ББК 49.7

ISBN 978-5-906131-46-1

© Леонидов Л. Д., 2014

© Спорт, 2014

## Содержание

Служение русскому искусству	6
От автора	8
Рампа и жизнь	9
Часть первая	10
1	10
2	12
Конец ознакомительного фрагмента.	18

# **Леонид Давидович Леонидов**

## **Рампа и жизнь**

© Издательство «Человек», издание, оформление, 2014

Печатается по книге, изданной в 1955 году в Париже «Русским Театральным Издательством За границей» с сохранением авторской орфографии.

## Служение русскому искусству

«...И пройдут времена, и исполнятся сроки... Театральный занавес опустится в последний раз, и автор воспоминаний предстанет перед Судьями своими, и на стереотипный вопрос, что ты делал на земле, ответит с виноватой улыбкой, но по чистой совести:

– Мне кажется, что служил я – радости!..»

Для автора этих строк «театральный занавес» опустился в последний раз 11 ноября минувшего года в Париже – «исполнились сроки» 98-летнего пребывания его на земле. Не менее 75 лет он нераздельно был связан с мировым искусством, и – в первую очередь – с пропагандой русского искусства за границей. Странен наш век – наследника богатой харьковской купеческой семьи приняла в свои недра земля французского пантеона – историческое кладбище Пер Лашез. А в «нормальный» век – сидеть бы Леонидову всю жизнь в своем родном Харькове за прилавком отцовского и дедовского торгового дела, подсчитывать ежедневную выручку за проданную мебель, время от времени меценатствовать, помогая «артистической братии», и в качестве именитого горожанина быть похороненным под стеной местного собора.

Но Леонид Давидович – как он сам пишет в своих воспоминаниях «Рампа и Жизнь» – с ранней юности влюбился в театр. Совсем молодым человеком еще в предреволюционные годы он, прирожденный администратор, начал «возить» на гастроли в провинцию знаменитых драматических артистов, а среди них и самого «старика» Варламова. Устраивал и концерты певцов – Дмитрия Смирнова и Нины Кошиц с ее тогдашним аккомпаниатором... Сергеем Рахманиновым. Интересовался и балетом: работал с Мордкиным, Балашовой и другими звездами русской сцены. Закономерно пришел Леонидов к Художественному Театру и с основным его составом выехал в заграничные гастроли по Европе и Америке, чтобы уже никогда не вернуться в Россию.

В Париже при зале Гаво много лет существовало его театрально-концертное бюро, но работал он и в Берлине, да и вообще в Европе свыше 50 лет.

В тридцатые годы организовывал Леонидов выступления Шаляпина и часто ездил с ним вместе, устраивал гастроли Николая Афонского и многих других артистов. В европейском артистическом мире Леонид Давидович был хорошо известен, но знали его и в Америке, еще со времен первых гастролей МХАТа, для успеха которых он немало потрудился.

Бывший директор Метрополитен Опера Рудольф Бинг тепло отзывается о Леонидове в своих мемуарах.

Вышедшие в 1955 г. в Париже воспоминания Леонидова «Рампа и Жизнь» представляют значительную ценность для любого исследователя истории русского театра и охватывают период от предреволюционных времен в России до начала Второй мировой войны в Европе. Справедливости ради, следует подчеркнуть, что в них автор порой несколько «увлекается» и оттого страдают они некоторой предвзятостью, но написаны живо и увлекательно, подчас несколько ностальгически.

Леонидов на всю жизнь остался наибольшим энтузиастом именно русского искусства, несмотря на то, что и на Западе завоевал значительное признание за свои художественные заслуги: был кавалером многих европейских орденов и наград государственных, театральных и академических организаций.

Вступление к своим воспоминаниям он заканчивает интересным размышлением: «... Не знаю, поглядят ли меня по головке Нелицеприятные Небесные Судьи. Но одно я знаю наверное – это то, что я снова встречу своих самых заветных земных друзей: и Владимира Ивановича Немировича-Данченко, и Федора Ивановича Шаляпина, и Константина Александровича Варламова, и Владимира Николаевича Давыдова, и Константина Сергеевича Станиславского, и

Варвару Васильевну Стрельскую, и Леонида Витальевича Собинова, неповторимого русского певца, и забубенную головушку Колю Ходотова...

И тут мы вместе вспомним нашу земную, суетливую жизнь, наши вагоны, наши корабли, наши успехи и провалы, и всю нашу милую театральную суету сует и всяческую суету...

Может быть, и взгрустнем по этой временной, но чудесной, расхлябанной, бестолковой земле.

А потом я услышу ангельские хоры и заранее знаю, что сейчас же подумаю:

– А какой из них лучше? Хор Санкт-Петербургского Мариинского или ангельский, херувимский?

Мысль греховная, сравнение непозволительное, но ангелы простят и, за благодарность к прошлому, не осудят».

В деловой жизни Леонидова считали «холодным бизнесменом». Но разве не таким именно и должен быть преуспевающий современный администратор? Видно, наследственная «купеческая закваска» в этом ему немало помогла.

«...И пришли времена, и исполнились сроки». В жизни Леонидова «театральный занавес» опустился в последний раз, но память о нем будет еще долго жить. Ибо значительное дело он совершил в своей долгой жизни.

*Алексей Николаев*

*Газета «Новое русское слово» (Париж)*

*23 января 1984 года*

## От автора

*Юлии Бекефи – безраздельно*  
*Автор*

... И придут времена, и исполнятся сроки...

Театральный занавес опустится в последний раз, и автор воспоминаний предстанет перед Судьями своими, и на стереотипный вопрос, что ты делал на земле, ответит с виноватой улыбкой, но по чистой совести:

Мне кажется, что служил я – радости!..

Отвлекал от людей черные мысли, вводил их в соприкосновение с высшим и благородным, приобщал к красоте, музыкой услаждал восприимчивый слух, игрою красок радовал зрение, искусством великого лицедейства насыщал неуспокоенные сердца и соборно с ними творил легенду.

В меру данного и отпущенного мне, старался и отвлечь, и развлечь, и увести на воображаемые или действительные высоты – того, что на бедном человеческом языке именуется красотой, творчеством и искусством. И, говоря словами Марселя Паньоля, – заставить хоть на миг развеселиться тех, чья жизнь исполнена скорби и печали, или очищающими слезами заставить плакать тех, кто в убожестве своем привык только гоготать и веселиться – не в этом ли есть оправдание высокого ремесла, которое называют Театром?..

И, кто знает, может быть, и додумается Великий Конклав, на коем почил небесная благодать, и провозгласит во всеуслышание запоздалое свое признание:

Saint Jean-Baptiste: Moliere!

Святой Вильям Шекспир!

Святой и Равноапостольный Александр Островский!..

Не знаю, поглядят ли меня по головке Нелицеприятные Небесные Судьи.

Но одно я знаю наверное.

– Это то, что я снова встречу своих самых заветных земных друзей: и Владимира Ивановича Немировича-Данченко, и Федора Ивановича Шаляпина, и Константина Александровича Варламова, и Давыдова Владимира Николаевича, и Константина Сергеевича Станиславского, и Варвару Васильевну Стрельскую, и Леонида Витальевича Собинова, неповторимого русского певца, и забубенную головушку Колю Ходотова...

И тут мы вместе вспомним нашу земную, суетливую жизнь, наши вагоны, наши корабли, наши успехи и провалы, и всю нашу милую театральную суету сует и всяческую суету...

Может быть, и взгрустнем по этой временной, но чудесной, расхлябанной, бестолковой земле...

А потом я услышу ангельские хоры и заранее знаю, что сейчас же подумаю:

– А какой же из них лучше? Хор Санкт-Петербургского Мариинского или ангельский, херувимский?

Мысль греховная, сравнение непозволительное, но ангелы простят и, за благодарность к прошлому, не осудят.

## Рампа и жизнь



## Часть первая

### 1

*Кинжал из дерева, костюм цветной и маски,  
Пурпурный плащ и блески вокруг него,  
Парик и тамбурин, белила, пудра, краски, —  
Вот все, что нужно мне для счастья моего.  
И верю, твердо верю я в свое призванье:  
В нем – жизнь и смерть. Когда они замрут,  
И отлетит в стихах последнее дыханье, —  
На декорациях тогда меня снесут.*

*Maurice Magre (Пер. Ф. Н. Касаткина-Ростовского)*

В центре Парижа, в известном на всю Европу концертном зале Гаво – находится мое театральное бюро. Звонят телефоны, приходят и уходят бесконечные телеграммы. Кипит работа. Подписываются контракты с лучшими мировыми артистами. Организуются театральные турнэ.

Волнения. Сомнения. Надежды. Разочарования. Вечное горение. Вечное расточительство сердечное, душевное.

Стараюсь угадать в человеке талант и сделать из него будущую знаменитость.

Все это захватывает и делает жизнь и созидательной, и интересной.

Но... если в один прекрасный день мне скажут: в Россию! – Я пешком пойду! Не пойду, а побегу, в родной мой Харьков, или, как его щедро титуловал Ллойд-Джордж, – «генерал Харьков».

Пешком пойду в этот мой милый город, и слезами покрою руку «генерала»...

Стану перед ним во фронт и отрапортую:

– Честь имею явиться, Ваше Превосходительство!

И, когда с благосклонной улыбкой, генерал меня отпустит, то, затаив дыханье, я брошусь прежде всего в Городской Театр, в это волшебное здание, которое когда-то дало мне столько радости, которое раскрыло мне смысл всей жизни, предсказало будущее, направило мои стопы к великому счастью и... никогда не обмануло. Я пробегу по той лестнице, по которой я когда-то ребенком, первый раз в жизни, поднимался в отцовскую литературную ложу. В этой прекрасной ложе мы сидели всей своей счастливой семьей и смотрели пьесу, которая называлась столь просто и столь значительно:

«Недоросль».

Это было первое, что я видел в театре, и до сих пор помню каждого актера, каждый выход, каждую интонацию, каждый жест. С тех пор у меня родилась любовь к театру, и крестным отцом ее был единственный, несравненный российский классик Фонвизин, и отсюда и пошли все мои качества. Этот спектакль выбил меня из колеи и решил судьбу: в своих детских снах я только и видел, что театр, ложу, колыхающийся занавес, переполненный партер, музыкантов, и таинственную суфлерскую будку.

Об этих снах моих я помалкивал, ибо сразу же, детским инстинктом, понял, что они, эти сны, не встретят благоволения, сочувственного отклика близких моих.

Семья моя – старинная, купеческая. Большое мебельное дело, основанное дедом. Добрая половина Харькова была обставлена нашей мебелью. Дело столетнее, налаженное, как хронометр. Покупали за наличные и продавали за наличные: цены без запроса, никаких торгов

и переторжек. Товар налицо, цены тоже налицо: хотите берите, не хотите – честь имеем кланяться.

Отец часто говаривал:

– Не понимаю, какого лешего тебе нужно? Кончил реальное училище, садись на мое место и продолжай дедовское дело: читай газеты и вечером носи домой выручку. Ни ты, ни дети твои не проживут того, что накоплено за сто лет. Чего портить глаза, надсаживать грудь и тому подобное, и прочее? Все равно, сколько ни учишься, а всего не узнаешь и всего не уразумеешь. А нравится тебе театр, – покупай билет первого ряда и садись, смотри, слушай.

Но тут вступалась мать: она в таких случаях всегда оспаривала отца.

– Нет, ты этого не скажи, – говаривала она, – по теперешним временам нужно иметь диплом. Получит диплом и пусть тогда делает, что хочет. Диплом хлеба не просит, а дело твое от него не уйдет.

– Как знать? – вопросом отвечал мудрый отец.

Теперь, когда я вспоминаю эти разговоры, – я думаю: в какой темноте бродят люди, как они не знают того, что собирается над их головой, на краю каких пропастей они ходят...

А, между тем, *vis teatralis*, как говорили древние римляне, уже глубоко вонзился в меня и начал овладевать мною с фантастической силой. Посещение театра сделалось органической потребностью. И это желание разрасталось с тем большей силой, что театр во всех смыслах был запретным плодом.

Театр запрещался и моим учебным заведением, и правилами патриархальной семьи.

Театр можно было посещать только в известных случаях, когда ставили что-либо из классического репертуара, и то – по специальным разрешениям.

И вот пришлось ухищряться.

Прийдя из училища домой, я немедленно садился за приготовление уроков к следующему дню. Конец этих занятий я всегда подгонял к восьми часам вечера.

Около восьми часов все было кончено и мне разрешалось погулять и подышать чистым воздухом.

Выйдя на улицу, не теряя ни минуты, я буквально летел – летел в театр. Там я вошел в соглашение со старым капельдинером, и он тайком пропускал меня в ложу с занавесками.

Я притаивался за этой занавеской и с замиранием сердца ждал поднятия занавеса. Увы! Я мог посмотреть только один первый акт, потому что к этому времени кончался срок моей отдохновительной прогулки на свежем воздухе.

Таким образом, после первого акта, я стрелой мчался домой и уже в передней, снимая пальто, нарочито громко говорил:

– Знаменито прошелся! Морозик градусов девять!

И никогда ни в ком не вызывал никаких подозрений.

У меня родилась тайна – второе счастье детской жизни. Вообще всякая тайна мила детскому сердцу, а эта тайна – тайна любви к театру, была особенно обаятельна: она говорила о двойной жизни, о сладости запретного плода, о какой-то необычайности, о борьбе за какую-то необыкновенную будущность, за нарождающуюся самостоятельность...

Бегая таким образом в театр, я просмотрел тридцать первых актов разнообразнейших пьес, и они, эти разрозненные акты, остались в моей голове, как огромный неразрешенный аккорд.

Кроме того, я, с чисто профессиональной настойчивостью, изучал известный актерский сборник: «Чтец-декламатор»: выучил наизусть почти все пьесы, вошедшие в эту книгу, и хранил ее, как единственное сокровище.

Это вносило какую-то пьяную сбивчивость, голова всегда была в тумане, но в тумане сладком и обольщающем.

Одно смешивалось с другим. Четко помню: на меня произвел сильное впечатление первый акт пьесы Трахтенберга «Потемки души» с актером Е. А. Лепковским в роли Питоева.

А с ученой частью происходило так: «все прямые углы – равны между собою»... – да, равны! Но как вчера эта самая Днепрова повернула голову в разговоре с матерью в «Грозе»!

«Прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками»... но как, с каким презрением Иван Михайлович Шувалов отвернулся от своего обидчика! Какой актер!

Так началась жизнь, – большая, сложная и, в конце концов, трудная жизнь человека, которому коварная, но благосклонная фея положила в колыбель театральный бинокль и гримировальный ящик.

Я говорю в данном случае о жизни потому, что нигде в мире и никогда ни один человек не переживал того, что мы, русские, пережили за годы революции. Очень часто один наш день равнялся годам, десятилетиям у иных благополучных поколений.

По самому скромному подсчету, каждому моему современнику, а значит, и мне самому – тысяча лет, самое меньшее!

Извольте же сосчитать: сколько за это время было «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»!

## 2

Однажды, возвращаясь по Московской улице из своего Училища, я увидел, что из книжного магазина Дредера выходит артист И. М. Шувалов, мой любимец и для меня в те времена – существо высшего порядка.

Совершенно бессознательно, движимый каким-то непреодолимым инстинктом, я пошел вслед за ним. Чего я хотел, чего ждал – ни тогда, ни теперь объяснить не могу. Просто хотелось идти за актером, которого город чтит и обожал. А надо отдать ему эту честь: Харьков умел и чтить, и обожать...

Шувалов, пользуясь хорошей теплой погодой, гулял, а я, в качестве адъютанта, за ним следовал в тайной надежде, что он, вдруг, обернется и спросит:

– Реалист! Что ты за мной ходишь? Что тебе нужно?

И я уже подготовил речь, что считаю его великим артистом, что я – его усерднейший до гроба поклонник, что он доставляет мне огромную радость своим гением, что я – готов ему всячески служить и угождать, что я и сам собираюсь быть актером, чувствую в себе актерские силы и буду всегда, по мере сил, подражать ему...

Актер шел медленно, наслаждаясь теплом, солнцем. Я видел отпечатки его калош на мокроватом тротуаре, складку брюк, волосы из-под шляпы – и все казалось мне необыкновенным, не таким, как у других, а из ряда вон выходящим.

Воображение все работало по-детски, и я думал, что вот так и в Афинах, и в Риме, ученики скромно, скромно, обязательно скромно, ходили вслед за своими наставниками, исполняя их маленькие поручения, бегали за табаком или опускали письма в почтовый ящик...

Наконец артист вошел в подъезд своего отеля, и меблированные комнаты Подкаминского показали мне пышным дворцом...

И тут только я вспомнил, что сильно запоздал к обеду: с ужасом я услышал, как на колокольне пробило четыре часа. И я, что называется, со всех ног понесся домой. Так и знал. Дома сейчас же предположили, что я за хорошие дела был заперт в карцере.

– О нет! – снисходительно и гордо ответил я.

– А где же ты был? Что ты делал?

– Где был? Что делал? Гулял по Московской улице с Шуваловым.

– Что-о?

– Говорю, гулял с Шуваловым. Шувалов хотел потолковать со мной кое о чем.

– И что же?

– Ну, и поговорили...

Вообще лгуном я не был, и это в доме твердо знали, но на этот раз на меня, все-таки, посмотрели не без некоторого удивления.

– Гулял с самим Шуваловым!

Когда я вспоминаю эти дни и когда теперь вижу, нос к носу, современную Европу, то начинаю думать, что Харьков, большой, но все-таки, второстепенный русский город, – должен по всей справедливости считаться одним из крупнейших культурных центров Европы.

Когда тот же Шувалов неожиданно и скоропостижно скончался, то Харьков облекся в глубокий траур, даже уличные фонари завесил крепом, закрыл все свои магазины и несметной толпой шел за гробом любимого артиста и многие горько и, на этот раз, совершенно искренно плакали.

Вообще о так называемой российской отсталости и некультурности сказано было немало вздорного и нелепого.

Мало того, что в каждом городе, мало-мальски значительном, был постоянный театр с постоянной, сезонной труппой, – почти в каждом таком городе летом играл большой симфонический оркестр. При архиерейских кафедральных соборах были организованы широкой рукой превосходные хоры а-капелла, которые играли большую роль в развитии русского музыкального вкуса.

И потому неудивительно, что когда привез в западную Европу русскую оперу и балет Дягилев, то Париж, arbiter elegantiarum раскрыл рот от изумления.

Как неудивительно и то, что и наш легендарный Шаляпин начал свою сказочную карьеру как простой певчий казанского архиерейского хора.

\* \* \*

...«Погуляв часика полтора с Шуваловым» и мысленно переговорив с ним, ученик шестого класса реального училища почувствовал необычайный прилив душевных и интеллектуальных сил.

Среди своих товарищей и одноклассников он сформировал нечто вроде маленькой театральной труппы, с которой и начал «играть» по частным домам.

Во всех этих частных домах, где была мало-мальски поместительная зала или гостиная, – «труппа» была желанным гостем.

Наша театральная возня, полная детского энтузиазма, вносила всюду оживление, приятный шум, нечто новое на фоне провинциальной жизни.

«Идет, гудет зеленый шум, зеленый шум, весенний шум...»

За нами ухаживали, после спектакля угощали ужином, во время которого наводилась критика, почти всегда благосклонная, шли театральные разговоры, и было приятно чувствовать себя некоею фигурой, персонажем, действия которого обсуждаются, оспариваются, сравниваются и т. п. У каждого из нас уже завелся маленький чемоданчик с гримировальными карандашами, в классах на нас смотрели с завистью, как на каких-то людей особенных, завистливо вышучивали нас, – все это нравилось, подбадривало энергию, повышало шансы на успех у коричневых гимназисток, и вообще настраивало на весьма мажорный лад.

В конце концов зашла речь о постановке спектаклей в самом Училище.

Первым спектаклем поставили «Ревизора», и Хлестакова играл Сережа Ценин, впоследствии первый артист Камерного Театра и сподвижник А. Я. Таирова. Мое личное участие, как артиста, ограничилось маленькой ролью в последнем акте, но зато на мне лежала роль импресарио, антрепренера!

Эти спектакли смотрело все Училище во главе с преподавательским персоналом. Сфера нашего влияния разрасталась, уже ощутительнее чувствовались завистники, которым наши удачи не давали спать, и наше положение в Училище становилось особенным, в курилке вывешивались рукописные «рецензии» и должен признаться, что хотя я их читал с полным наружным спокойствием, но на самом деле – с большим душевным трепетом. И это тоже было большим очарованием вновь протаптываемых дорог.

Одним словом, шумели много, и, по окончании курса, вручая мне аттестат, директор шутя сказал:

– Слава Богу, что уходите. Без вас шуму меньше будет.

... С реальным училищем было благополучно покончено. Надо было выбирать иные пути, широкие дороги.

В семье давно по этому поводу велись споры и разговоры.

В те времена особенно гонялись за званием и положением инженера. В России был огромный спрос на специалистов, и работа инженера отлично устраивала в жизни – особенно с точки зрения материальной.

Но кто мог почувствовать или догадаться, о чем мечтала душа моя?

«Кинжал из дерева, костюм цветной, и маска...»

Все существо мое рвалось туда, к колдовству, к рампе, к мигающим театральным огням! Но об этом нужно было молчать, таить в душе, чтобы не возбуждать косых взглядов, неприятностей и унылых разговоров. Я знал о великом примере французского художника Коро, который должен был стать за прилавок отцовского магазина, каковой магазин и теперь благополучно существует.

Коро должен был оставаться за этим прилавком до тех пор, пока отец его окончательно не убедился в полной непригодности своего сына к коммерческой деятельности. И только после этого с печалью отпустили его на ту дорогу, на которой он впоследствии прославил и себя, и свою почтенную семью, и Францию.

– Вам нужен инженерский диплом? Хорошо. Отлично.

А там видно будет.

В специальные учебные заведения поступали по конкурсным экзаменам, довольно трудным. Конкуренция желающих была огромная.

Трудности были преодолены, – и я поступаю в Технологический Институт.

... Я все время мыслю театральными образами и в этот момент я бы мог честно продекламировать:

– Поднялся занавес и передо мной открылась большая и эффектная и... самая скучная дорога жизни.

Вот, стало быть, и я – студент Харьковского Технологического Института, в форменной тужурке, с царскими инициалами на золотых наплечниках. Детство кончилось.

Могу курить на улице, заходить в рестораны, а самое главное – могу свободно, без всяких разрешений и спросов, посещать театр и не ютиться там, где-то в райке, а сидеть в партере, хоть с самим директором рядом. И, разумеется, я – каждый вечер в театре. Знаком со всей труппой, свой человек за кулисами, веду дружбу с театральными рецензентами, пытаюсь как-нибудь сыграть на этой большой сцене, хотя бы крошечную роль, но, увы! это – недостижимо, дело серьезное и большое: рядом с огромными талантами много и того, что французы называют «utilite», и потому всякий держится зубами даже за роли без ниточки.

И, вдруг, какая-то добрая душа дает мне совет:

– Время у тебя есть, деньги найдутся – собери маленькую труппу из хороших, испытанных любителей и кати в ближайшие окрестности, в Бахмут, в Юзовку – мало ли куда...

Зерно упало на благодарную почву.

Кликнул клич, собрал небольшую группу любителей, срепетовал с ними несколько небольших, легко перевозимых пьес и на второй день Рождества покатыл в Бахмут.

Там мы должны были найти популярную и, говорили, очень способную, уже одобренную Бахмутским «мондом» местную любительницу типа львицы, которая и должна была быть главной приманкой спектакля.

Подготовил все мой тамошний представитель, фанатик и энтузиаст драматического искусства, по профессии помощник провизора, по имени Миша, по фамилии Розенблат.

Но когда мы приехали, нас ждал удар и полный крах.

– Героиня, надежда, наш главный козырь, львица большого света, куда-то по семейным делам уехала из города в совершенно неизвестном направлении.

Лица вытянулись. Спектакль состояться не мог. Денег на обратный проезд не было. Среди трупы поднялся плач, стон, скрежет зубовой.

Миша носился как угорелый и кричал:

– Братья во Христе и во Израиле! Ведите себя прилично! Кто мог предполагать подобное осложнение? Само небо против нас!..

По свойству темперамента Миша был трагиком.

В ответ ему неслись проклятия: проклинали его, меня, Бахмут, львицу и страстно посылали ее ко всем чертям сразу.

Кончилось тем, что вся труппа мрачно отправилась на вокзал, единственное закрытое помещение, которое было в нашем распоряжении.

Мы же с провизором стали чинить военный совет: за помещение дан задаток, но надо расплатиться полностью. Но где взять, найти, достать соответствующую сумму?! Оставалось одно – просить клуб пойти нам навстречу и, так сказать, не сдирать с нас последней шкуры.

Дежурный старшина, как говорится, и гладиться не давался.

– Какое нам дело? – говорил он, разводя руками, – играете вы или не играете? Помещение вам сдано, задаток получен и кончен бал. Остальное на бочку. Без вас мы имели десять предложений, и может быть, и все двадцать, так что пожалуйста бритесь, и никаких историй...

Что и говорить, старшина был прав, но дело было в том, что за всеми расходами у меня в кошельке оставалось несколько медяков, а еще отъезд в Харьков, не ночевать же здесь. Кроме того, в эту минуту во мне, очевидно, уже слагался будущий импресарио – и мне нестерпимо было думать, что я ставлю «мою» труппу в столь невероятное положение. Спектакль не состоится – это одно, это, так сказать, игра непреодолимых сил, форс-мажор, но доставить труппу в Харьков я обязан!

Стоим мы с Мишей и почесываем затылки. И вдруг, как в классических рождественских рассказах, послышались трючные залихватские бубенчики. В темноте голоса, не особенно трезвые:

– Где тут театр?

– А что?

– Шестнадцать первых мест для юнкеров юнкерского училища.

Мой фармацевт хотел уже пуститься в соответствующие объяснения, но меня вдруг охватило вдохновение, я прервал его и сказал:

– Эврипид, чортова кукла! Зажигай электричество, садись в кассу и бери с них по целковому! Спектакль состоится!..

Розенблат ошалело посмотрел на меня и вероятно подумал: не сошел ли я с ума, но потом хмыкнул, фыркнул, покрылся испариной и бросился исполнять директорские предначертания.

А меня осенила мысль, которую я еще долго потом считал гениальной.

Когда публика расселась по местам, я сам дал звонок, сам поднял занавес. А потом, через несколько минут, слегка загримированный, вышел на сцену. В зале водворилась мертвая тишина: никто не знал, что этот неизвестный молодой человек собирается делать.

А я, с пересохшим от волнения горлом, но вытянувшись в струнку, подошел к самой рампе, откашлялся, поклонился почтеннейшей публике и так, с места в карьер, стал читать никитинского «Хозяина».

Прочитал и вдруг слышу – гром аплодисментов.

Успех кружит головы. Была не была! Пропадать, так с музыкой! Гортань деревянная, а тембр металлический.

Я уже не только читаю, но и изображаю, действую, играю!

То Апухтинского «Сумасшедшего», то «Белое покрывало», «Сакья-муни» Мережковского, а то и просто – никаких испанцев! – монолог Чацкого.

Слушают, оказывается, сверх ожидания, даже внимательно.

Слушают, сочувствуют, одобряют.

Верхним чутьем угадываю – довольно лирики, пора перейти на легкий репертуар.

Сказано – сделано.

Попадаю в точку. Анекдот. Юмор. Чорт в ступе. Дивертисмент.

Смех. Аплодисменты. Полное одобрение. А я опять перехожу на лирику, переключаю и себя, и публику. А сам тайком – на часы!

Пятьдесят минут, как один сладкий миг! И даю условленный знак обалдевшему Мише. А тот трагическим голосом объявляет:

– Антрррракт!!

Стараясь подражать неподражаемому Шувалову, покидаю сцену, задерживаю занавес и иду в свою ложу (уборную), гляжу на себя в зеркало – загнанная лошадь! В дверь просовывается Миша, и в обеих руках несет выручку, жмет, прижимает, обнимает, рассказывает, что публика в восторге, что на Крещение спектакль необходимо повторить, что к тому времени возвратится примадонна, что Бахмут можно сделать золотым дном!..

А я сижу и мучительно думаю, чем же в следующем отделении я буду занимать свою почтеннейшую публику? И невольно в душу вливается досада на мою «труппу», предательски бросившую меня и демонстративно сидящую на вокзале.

А Эврипид, швырнув мне кассу, смывается, чтобы, как объяснил он потом, – подготовить публику.

Подготовка заключалась в том, что вот, мол, приехала большая харьковская труппа, но в последнюю минуту случилось несчастье: труппа пила чай с вишневым вареньем и угорела от самовара. Из строя не вышел только один знаменитый Леонидов, который и взвалил на свои рамена всю тяжесть спектакля, весь форс-мажор.

«Форс-мажор» действует на Бахмут магически.

А у меня в запасе еще множество веселеньких историй, которыми кишит добродушный, сытый и обильный юг России.

И во втором отделении я начинаю вываливать их, как раков из мешка.

Публика, дай ей Бог здоровья, «реагирует», одобряет, ржет.

Очарование успеха так велико, что мне уже хочется, чтобы спектакль никогда не кончился.

И, когда занавес, наконец, опускается, я испытываю первую радость театральной удачи и думаю:

– А все-таки, чорт возьми, кривая вывезла!

Сказать по совести, – был я в то время счастлив несложным, наивным, но настоящим актерским счастьем. Сверх ожидания, все сложилось как нельзя лучше. Первый блин не вышел комом.

Вспоминаю, как по темным и снежным улицам провинциального городка мы с моим восторженным Мишей шли на вокзал, а он без конца тараторил:

– Вижу в вас большого импресарио – в вашем положении не вывернулся бы и сам Барнум! А вы вывернулись смело, рискованно и удачно! О чем сие говорит? О том сие говорит, что в вас есть не какая-нибудь пружина, а полный механизм антрепренера! Ибо, скажем научно, что такое антрепренер? – Это прежде всего глазомер, быстрота и натиск. Мой скромный совет: копайте золотую жилу в этом направлении!

– А Технологический Институт!

– Плюньте! Ходите с большого козыря! И бейте его по усам, ваш Технологический Институт.

И удивительное дело, слова уездного Эврипида глубоко запали в душу.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.